



А. Н. ТОЛСТОЙ

**Открытое письмо
гр. А. Толстого Н. В. Чайковскому**

Глубокоуважаемый Николай Васильевич¹, обращаюсь к Вам как к председателю Комитета помощи писателям, потребовавшему у меня объяснений моего сотрудничества в «Накануне». С большой охотой даю эти объяснения.

В вашем письме вопрос, — почему я пошел? — непосредственно связан с почти предрешенным обвинением меня. Поэтому, предварительно, я принужден отвести обвинение и затем уже ответить Вам.

Газета «Накануне», «заведомо издающаяся на большевистские деньги», как Вы пишете, — на самом деле издается на деньги частного лица, не имеющего никакой связи с нынешним правительством России. «Накануне» есть газета свободная, редакция состоит из членов группы «Смена Вех», сотрудники — из примыкающих, в широком смысле, к общей линии этого направления. Основным условием моего сотрудничества было то, что «Накануне» — не официоз.

Затем: — задача газеты «Накануне» не есть, — как Вы пишете, — борьба с русской эмиграцией, но есть *борьба за русскую государственность*. Если в периоде этой борьбы газета борется и будет бороться с теми или иными политическими партиями в эмиграции, то эту борьбу не нужно рассматривать как цель газеты, но как тактику, применяемую во всякой политической борьбе.

Я же, сотрудник этой газеты, вошедший в нее на самых широких началах независимости, — политической борьбы не веду, ибо считаю, что писатель, оставляющий свое прямое занятие — художественное творчество — для политической борьбы, поступает неразумно, и для себя и для дела — вредно.

Теперь позвольте мне указать на причины, заставившие меня вступить сотрудником в газету, которая ставит себе целью: — укрепление

русской государственности, восстановление в разоренной России хозяйственной жизни и утверждение великодержавности России. В существующем ныне большевистском правительстве газета «Накануне» видит ту реальную, — единственную в реальном плане, — власть, которая одна сейчас защищает русские границы от покушения на них соседей, поддерживает единство русского государства и на Генуэзской конференции² одна выступает в защиту России от возможного порабощения и разграбления ее иными странами.

Я представляю из себя натуральный тип русского эмигранта, то есть человека, проделавшего весь скорбный путь хождения по мукам. В эпоху великой борьбы белых и красных я был на стороне белых. Я ненавидел большевиков физически. Я считал их разорителями русского государства, причиной всех бед. В эти годы погибли два моих родных брата³, — один зарублен, другой умер от ран, расстреляны двое моих дядей⁴, восемь человек моих родных умерло от голода и болезней. Я сам с семьей страдал ужасно. Мне было за что ненавидеть.

Красные одолели, междоусобная война кончилась, но мы, русские эмигранты в Париже, все еще продолжали жить инерцией бывшей борьбы. Мы питались дикими слухами и фантастическими надеждами. Каждый день мы определяли новый срок, когда большевики должны пасть, — были несомненные признаки их конца. Парижская жизнь начала походить на бред. Мы бредили наяву, в трамваях, на улицах. Французы нас боялись, как сумасшедших. Строчка телеграммы, по большей части сочиняемой на месте, в редакции, — приводила нас в исступление, мы покупали чемоданы, чтобы ехать в вот-вот *готовую пасть Москву*. Мы были призраками, бродящими по великому городу. От этого постоянного столкновения воспаленной фантазии с реальностью, от этих постоянных сотрясений многие не выдерживали. Мы были просто несчастными существами, оторванными от родины, птицами, спугнутыми с родных гнезд. Быть может, когда мы вернемся в Россию, остававшиеся там начнут считаться с нами в страданиях. Наших было не меньше: мы ели горький хлеб на чужбине.

Затем наступили два события, которые одним подбавили жару в их надеждах на падение большевиков, на других повлияли совсем по-иному. Это были война с Польшей и голод в России.

Я в числе многих, многих других, не мог сочувствовать полякам, завоевавшим русскую землю, не мог пожелать установления границ 72 года⁵ или отдачи полякам Смоленска, который 400 лет тому назад, в точно такой же обстановке, защищал воевода Шеин⁶ от польских войск, явившихся так же по русскому зову под стены русского города.

Всей своей кровью я желал победы красным войскам. Какое противоречие. Я все еще был наполовину в призрачном состоянии, в бреду. Приспело новое испытание: апокалипсические времена русского голода. Россия вымирала. Кто был виноват? Не все ли равно — кто виноват, когда детские трупки сваливаются, как штабели дров у железнодорожных станций, когда едят человеческое мясо. Все, все мы, скопом, соборно, извечно виноваты. Но, разумеется, нашлись непримиримые: они сказали, — голод ужасен, но — с разбойниками, захватившими в России власть, мы не примиримся, — ни вагона хлеба в Россию, где этот вагон лишней день продлит власть большевиков! К счастью, таких было немного. В Россию все же повезли хлеб, и голодные его ели⁷.

Наконец, третьим, необычайным событием была перемена внутреннего, затем и внешнего курса русского, большевистского правительства, каковой курс утверждается бытом и законом. Каждому русскому, приезжающему с запада на восток, — в Берлин, — становится ясно еще и нижеследующее:

Представление о России, как о какой-то опустевшей, покрытой могилами, вымершей равнине, где сидят гнездами разбойники-большевики, фантастическое это представление сменяется понемногу более близким к действительности. Россия не вся вымерла и не пропала. 150 миллионов живет на ее равнинах, живет, конечно, плохо, голодно, вшиво, но, несмотря на тяжкую жизнь и голод, — не желает все же ни нашествия иностранцев, ни отдачи Смоленска, ни собственной смерти и гибели. Население России совершенно не желает считаться с тем, — угодна или не угодна его линия поведения у себя в России тем или иным политическим группам, живущим вне России.

Теперь, представьте, Николай Васильевич, как должен сегодня рассуждать со своею совестью русский эмигрант, например, — я. Ведь рассуждать о судьбах родины и приходиться к выводам совести и разума — не преступление. Так вот, мне представились только три пути к одной цели — сохранению и утверждению русской государственности. (Я не говорю — для свержения большевиков, потому что: 1) момент их свержения теперь уже не синоним выздоровления России от тяжелой болезни, 2) никто мне не может указать ту реальную силу, которая могла бы их свергнуть, 3) если бы такая сила нашлась, все же я не уверен — захочет ли население в России свержения большевиков с тем, чтобы их заменили приходящие извне.)

Первый путь: собрать армию из иностранцев, придать к ним остатки разбитых белых армий, вторгнуться через польскую и румынскую границы в пределы России и начать воевать с красными. Пойти

на такое дело можно, только сказав себе: кровь убитых и замученных русских людей я беру на свою совесть. В моей совести нет достаточной емкости, чтобы вмещать в себя чужую кровь.

Второй путь: брать большевиков измором, прикармливая, однако, особенно голодающих. Путь этот так же чреват: 1) увеличением смертности в России, 2) уменьшением сопротивляемости России, как государства. Но твердой уверенности именно в том, что большевистское правительство, охраняемое отборнейшими войсками, и как и всякое правительство, живущее в лучших условиях, чем рядовой обыватель, — будет взято измором раньше, чем выморится население в России, — этой уверенности у меня нет.

Третий путь: признать реальность существования в России правительства, называемого большевистским, признать, что никакого другого правительства ни в России, ни вне России — нет. (Признать это так же, как признать, что за окном свирепая буря, хотя и хочется, стоя у окна, думать, что — майский день.) Признав, делать все, чтобы помочь последнему фазису русской революции пойти в сторону обогащения русской жизни, в сторону извлечения из революции всего доброго и справедливого и утверждения этого добра, в сторону уничтожения всего злого и несправедливого, принесенного той же революцией, и, наконец, в сторону укрепления нашей великодержавности. Я выбираю этот третий путь.

Есть еще четвертый путь, даже и не путь, а путьишко: недавно приехал из Парижа молодой писатель⁸ и прямо с вокзала пришел ко мне. «Ну как, — скоро, видимо, конец, — сказал он мне, и в его заблестевших глазах скользнул знакомый призрачный огонек парижского сумасшествия. — У нас (то есть в Париже) говорят, что скоро большевикам конец». Я стал говорить ему приблизительно о тех же трех путях. Он сморщился, как от дурного запаха.

— С большевиками я не примирюсь никогда.

— А если их признают?

— Герцен⁹ же сидел пятнадцать лет за границей. И я буду ждать, когда они падут, но в Россию не вернусь.

Когда же он узнал, что мой фельетон напечатан в «Накануне», он буквально без шапки, оставив у меня в комнате шляпу и трость, выбежал от меня, и я догнал его уже на лестнице, чтобы передать шляпу и трость. Он бежал, как от зараженного чумой.

Четвертый путь, разумеется, — безопасный, чисто плотный, тихий, — но это, к сожалению, в наше время путь устрицы, не человека. Герцен жил не в изгнании, а в мире, а нам — лезть в подвал. Живьем в подвал — нет!

Итак, Николай Васильевич, я выбрал третий путь. Мне говорят: я соглашаюсь с убийцами. Да, нелегко мне было встать на этот, третий путь. За большевиками в прошлом — террор. Война и террор в прошлом. Чтобы их не было в будущем — это уже зависит от нашей общей воли к тому, чтобы с войной и террором покончить навсегда... Я бы очень хотел, чтобы у власти сидели люди, которым нельзя было бы сказать: вы убили.

Но для того, предположим, чтобы посадить этих незапятнанных людей, нужно опять-таки начать с убийств, с войны, с вымаривания голодом и прочее. Порочный круг. И опять я повторяю: я не могу сказать: — я невинен в лившейся русской крови, я чист, на моей совести нет пятен... Все, мы все, скопом, соборно виноваты во всем совершившемся. И совесть меня зовет не лезть в подвал, а ехать в Россию и хоть гвоздик свой собственный, — но вколотить в истрепанный бурями русский корабль. По примеру Петра¹⁰.

Что касается желаемой политической жизни в России, то в этом я ровно ничего не понимаю: — что лучше для моей родины — учредительное собрание, или король, или что-нибудь иное? Я уверен только в одном, что форма государственной власти в России должна теперь, после четырех лет революции, — вырасти из земли, из самого корня, создаться путем эмпирическим, опытным, — и в этом, в опытном выборе и должны сказаться и народная мудрость, и чаяния народа. Но снова начать с прикладывания к русским зияющим ранам абстрактной, выношенной в кабинетах идеи, — невозможно. Слишком много было крови, и опыта, и вивисекции.

